

Издательский дом «КомпасГид»

МАРИ ШАРТР

ПУСТЬ
БУДЕТ
ГРОЗА

RESPECT
THE
INDIANES



Мари Шартр

Пусть будет гроза

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69665089

Пусть будет гроза : [для ст. шк. возраста : 12+] / Мари Шартр ; [пер. с фр. Иры Филипповой ; авт. обл. Антуан Доре] : КомпасГид; Москва;

2023

ISBN 978-5-907514-83-6

Аннотация

Когда однажды утром у ворот лица Мозеса сбивает с ног черноволосый здоровяк, он и не подозревает, что встретил друга, в котором так нуждался. Ведь именно он – новый одноклассник, индеец Ратсо – помогает Мозесу заново обрести смысл жизни.

Почему заново? Да потому что 16-летний подросток опустошен и раздавлен после автокатастрофы, которая покалечила ему ногу. Костыль, хромота, проблемная кожа, ссоры в семье – всё это погружает Мозеса в беспросветное отчаяние. Но, разговорившись с Ратсо, он понимает, что у того тоже есть свои причины для гнева и печали. И, пока Мозес пытается в них разобраться, индеец неожиданно приглашает его поехать вместе на день рождения своей сестры, к себе на родину, в резервацию Пайн-Ридж...

Но что ждет их на этом пути? Поможет ли поездка найти то, что оба так искренне ищут?

Французская писательница Мари Шартр написала трогательную и вместе с тем слегка ироничную историю о путешествии двух подростков по американскому хайвею, о дружбе, поиске себя, обиде на жизнь и бунте против безразличия мира и отчаяния. Затронув тему непростого положения индейцев в резервациях, писательница оставляет читателю возможность самому расставить акценты и решить, как можно выбраться из того, что кажется непреодолимым.

Мари Шартр живет в Брюсселе, работает в книжном магазине и пишет романы для детей и молодежи.

Содержание

Я – имя	7
Я – спичка	13
Я – лис (хромой	18
Я – суспензия	35
Я – безнадежность	44
Я – черная дыра	57
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Мари Шартр

Пусть будет гроза

Я посвящаю эту книгу непобедимой Марло, а также той, кто Марло придумал, и всему ею сказанному

Фэнни и сиянию ее будущего

Моему брату Симону



Издано при поддержке Программы содействия издательскому делу Французского института

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d'aide à la publication de l'Institut français



Перевод с французского Иры Филипповой

Москва



КомпасГид
издательский дом

Original title: *Les petits orages*. Written by Marie Chartres

© 2016 l'école des loisirs, Paris

Le dessin pour la couverture par Antoine Dore.

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Тинбук», 2023

Я – имя

– Хлопья будешь? – крикнула мать из-за двери в мою комнату.

– Мам! Ну ты же знаешь! – отозвался я раздраженно. – Нет, только кофе без сахара!

– А ты в курсе, что хлопья намного полезнее для нормального стула? – в который раз напомнила она. – Нормальный стул – это очень важно!

Мать до глубины души волнует здоровье моей прямой кишки, а мне не очень-то в кайф обсуждать подобные темы по утрам.

Из-за двери донесся ее сокрушенный вздох. Как же меня бесит, когда она так делает.

– Мам, я не хочу про это говорить! Просто кофе, и не надо, пожалуйста, стоять у меня под дверью и в сто первый раз спрашивать про хлопья. Ну это бессмысленно! Я же все равно, хочешь не хочешь, пройду через кухню перед выходом. А тут я вообще-то одеваюсь.

– Может, тебе помочь? – предложила она.

– Да нет же, ты чего! Я нормально справляюсь.

– Надеюсь, зарядку сделать не забыл?

– Не забыл, мам.

Прямая кишка и зарядка. Вот что доставалось мне по утрам от мамы. А от папы доставалось только тяжелое мол-

чание. Полная немота – то ли враждебная, то ли просто загадочная. Я не понимал, в чем причина, но ладони потели, меня накрывало с головой, прошибала дрожь, и я ничего не видел вокруг.

Ну да, всего-то.

Меня зовут Мозес Лауфер¹ Виктор. И это еще без фамилии. А если полностью – то Мозес Лауфер Виктор Леонард. Это родители мои придумали. Они у меня оба психоаналитики.

Отец – лаканист, а мать – юнгианка², и оба повернуты на психоанализе подростков, поэтому у меня и имя такое. Мозес Лауфер – это очень знаменитый психоаналитик, который изучал проблему подросткового нервного срыва^{*3}, и знание этого факта мне как собаке пятая нога, хе-хе, мне бы и четырех хватило! Если бы мои родители были киноманами, я бы запросто мог стать Брэдом Питтом Виктором Леонардом или даже Джонни Деппом Виктором Леонардом. Не знаю, что хуже.

Нет, серьезно, тут выбор непростой. Ну зато хотя бы тре-

¹ Мозес Лауфер (1926–2006) – известный канадский психоаналитик, который совершил немало открытий в области психологии подростков.

² То есть отец – специалист по наследию французского философа и психоаналитика Жака Лакана (1901–1981), а мать – приверженец знаменитого швейцарского психиатра Карла Густава Юнга (1875–1961). Оба ученых – последователи Зигмунда Фрейда.

³ Слова, отмеченные звездочкой, см. в словарице на стр. 203.

тье имя я получил свое собственное: Виктор. Даже не знаю, откуда оно взялось.

Мозес Лауфер Виктор Леонард, шестнадцать лет, хромой, живу в городе Мобридж, Южная Дакота. Вот такая личная информация.

Я услышал, как мать удаляется обратно в кухню. Она вечно бьется о мою дверь, когда дает задний ход.

Я с горем пополам натянул черные джинсы. В натягивании штанов я стал прямо-таки акробатом. Задача, между прочим, не из легких, когда правая нога решила жить своей жизнью, в гордом одиночестве, отрицая всякую связь с левой. А сама при этом напоминает старое чахлое дерево, которое гнется на ветру и ни за что не желает принять вертикальное положение. В то время как левая по-прежнему бодрa и изящна и страшно гордится тем, что осталась в живых и избежала худшего.

– Хорошо устроилась! – иногда шептал я ей по ночам, когда ее напарница причиняла мне нестерпимую боль.

Одеваясь, я трещал суставами, как горящий хворост.

Я бросил взгляд в зеркало, стоящее на полу. Высотой оно было не больше метра, и это меня вполне устраивало: в нем отражались только туловище и ноги, а лицо – нет. Видок-то и без лица довольно безрадостный. А если еще и на лицо посмотреть, то увидишь глаза, похожие на двух больших несчастных собак, которых наказали ни за что, и вот они с

печальной мольбой взирают на пустырь, высматривая слабую надежду на изменения к лучшему.

Но нет, улучшениями пока и не пахло. У меня были жирная кожа и прыщи. Врач мне так и сказал: «Да, у тебя избыток кожного сала, но все-таки давай для начала займемся ногой. По-моему, это для нас важнее». А мне так хотелось на это ответить: «Нет, будьте добры, давайте для начала займемся лицом!» Однако прыщи мои бесили только меня одного. И еще наверняка всех девчонок в лицее. Кому понравится лицо, похожее на пиццу с болгарским перцем?

В хромоте еще можно было при желании разглядеть что-то рок-н-рольное. Ну, хоть чуть-чуть. Даже с костылем. А вот в жирной коже – ничего. Я видел это в глазах девчонок, такое ни с чем не перепутаешь. У них взгляды как бы потухали или появлялось в них что-то до жути унижительное, типа жалости. И когда я оказывался в лицее в сопровождении матери, то срывал настоящий джекпот: сочувствие и жалость одновременно.

– Может, хотя бы апельсинового соку? – предприняла последнюю отчаянную попытку мать, когда я вошел в кухню.

– Ладно, давай, если тебе так хочется, – смирился я.

Отец сидел за высоким столом в центре кухни. Он читал газету. И молчал.

– Пап, налить тебе кофе? – спросил я.

– Нет, спасибо, – сухо ответил он, не отрываясь от свежих новостей.

Мне показалось, что свет вдруг замигал, и я застыл на месте – стоял и смотрел на коробку хлопьев, которую мать все-таки упрямо водрузила на стол. По небу незримо пролетел самолет – я отчетливо расслышал гул реактивных двигателей.

В ушах зазвенело, шум завис над головой и не утихал. Чтобы немного отвлечься, я взглянул в окно на качели, подвешенные на ветке сливы. Свет был белый, он кружился и плыл. В него хотелось окунуться – окунуться и про все забыть.

Костыль простучал по кухонному полу – это я подошел к нашему большому панорамному окну.

– Как думаете, они за все это время не испортились? – спросил я.

– Ты о чем, мой хороший? – спросила мама. – Что не испортилось?

– Качели на сливе – как думаешь, они еще крепкие?

Мамина инвалидная коляска, тихонько скрипнув, подкатилась ко мне.

– Не знаю. Но ты, пожалуйста, ими не пользуйся, пока папа не проверит, как там веревки и доска.

Мама прищурившись смотрела в сторону сада, как будто пыталась разглядеть там свое будущее.

– Я уже и забыла про эти качели, сто лет на них не смотрела. Тим, тебя не затруднит как-нибудь на них взглянуть? – спросила она, развернувшись к отцу.

Папа опустил чашку на стол и медленно сложил развернутую газету.

– Могу взглянуть, да. Но кто-нибудь может мне объяснить, какой в этом смысл? Кататься на качелях могу только я. Я, конечно, рад поддержать любую абсурдную идею, но... – проговорил он тихо.

– Нет, этого тебе никто объяснить не сможет, и все-таки я прошу тебя это сделать. Может, ты и вправду единственный, кто сможет по-настоящему кататься на качелях, но было бы неплохо их проверить, – со спокойной улыбкой возразила мама. Мягко и деликатно, как всегда.

– Ладно, сегодня после работы посмотрю, – сказал отец. Он наклонился к матери и поцеловал ее в лоб.

Я унес эту картинку с собой. Утешительную и лучистую.

Я – спичка

– Ты опоздал! – крикнул Колин, как только меня увидел.

– Извини, я все-таки хожу помедленнее остальных. Возможно, в этом корень проблемы.

– Ну так выходи пораньше остальных. Возможно, в этом решение проблемы, – ответил он.

Колин Брэннон – мой лучший друг. Вернее было бы сказать, что однажды он прилип ко мне, хоть я и не просил, и с тех пор не отлипал. Кроме него со мной больше никто не разговаривал. Он никогда не говорил ни про аварию, ни про мой костыль. В отличие от всех, никогда ни о чем не спрашивал. Единственное, что его интересовало, – это карточки, которыми мы с ним обменивались. Ему были нужны волшебник, гном или толстый дракон. А я надеялся выменять у него прекрасную колдунью, замок Люксор и что-то там еще. Он дожидался меня, стоя у ворот лицея, а потом бежал в школу «Ситтинг Булл» по соседству. Да, Колину было двенадцать, а я учился уже в восьмом. Это важный момент, я обязательно должен о нем упомянуть. Колин еще не дорос до прыщей и жирной кожи, как у меня, и девочки его пока не интересовали. Я даже не уверен, осознавал ли он вообще, что они существуют и живут где-то рядом. Он повсюду таскал с собой толстые альбомы с карточками для ролевых игр, и рюкзак его, казалось, вот-вот взорвется посреди вселенной

подземелий и драконов – таким он был набитым. Но мне все это, честно говоря, было только на руку.

– Ну что, принес? – с ходу спросил он.

– Да, сейчас, она тут, в рюкзаке, – ответил я.

– Давай сюда, – скомандовал он, выхватывая рюкзак у меня из рук. – А то ты еще лет сто провозишься.

Колин ничего не стеснялся и лишней вежливостью не страдал. Он знал, что мне часто мешает костыль и больно ноге, что я чересчур медленный и неуклюжий, что у меня из рук все валится, я не очень-то меткий и проворный и к тому же иногда у меня дрожат пальцы. Сам Колин был тощим, грубоватым и не слишком хорошо воспитанным, а со мной он и вовсе не церемонился, но вел себя так не со зла, и я это ценил. У него была самая классная коллекция карточек во всем Мобридже. В общем, сплошные достоинства. Что же до моих одноклассников, то они на меня вечно так тарасились, что мне ужасно хотелось показать им свои длиннющие шрамы на ноге и на спине. Вот бы взглянуть тогда на их перепуганные физиономии и еще спросить – так, в шутку: «Нитки с иглой ни у кого нет? А то у меня, похоже, шов разошелся!» Смеху было бы! Я бы уж точно посмеялся. Вроде бы им и жалко меня, и в то же время страшно. Правда классная вышла бы шутка?

Тут Колин прервал мои мысли.

– Вот блин, нет ее тут! Ты точно клал?

Да, помимо всего прочего, Колин еще и слегка допотоп-

ный – говорит «блин» вместо того, чтобы ругнуться по-настоящему. Моим родителям-психоаналитикам это наверняка показалось бы любопытным. И даже «уместным и ожидаемым», как сказал бы отец. До сих пор не могу забыть, как важно он произнес: «То, что ты сейчас сказал, уместно и ожидаемо», – это когда в шесть лет я вместо «папа» произнес «кака».

Вот только я уже целый год – с аварии – был лишен удовольствия наслаждаться уместностью своих выражений, потому что отец старался по возможности меня избегать и, когда я проходил мимо, низко опускал голову.

– А-а-а! – яростно взревел Колин. – Тут у тебя вообще ничего не найдешь! Ты сам-то видел этот бардак? И где карточка? Давай скорее, я на урок опаздываю. – Он запаниковал и засуетился.

Я стоял там со своим костылем и уже сам начинал терять терпение. Откашлялся.

– Не знаю, я ее точно клал.

– Да нет же, ее тут нет! – разочарованно протянул Колин. – Я побежал, но завтра ты уж точно не забудь, ладно? И главное – не опаздывай!

Я смотрел, как он на полной скорости убегает прочь. Ну прямо маленький призрак. Колин для своих лет был просто коротышкой, с бледной, почти совсем белой кожей. Когда мы шли рядом, я был похож на покалеченный восклицательный знак, а он – на малюсенькую запятую, легкий росчерк,

который едва коснулся бумаги и тут же почти растворился в воздухе. Вместе получалась ужасно странная пунктуация. Думаю, люди нас вообще не замечали.

Мне так хотелось рассказать Колину, что сегодня у меня доклад по истории и я умираю от страха при мысли, что придется выступать на публике, но он на бешеной скорости уносился прочь, только огромный рюкзак еще мелькал вдали.

Я стоял у ворот лица и не двигался с места. Какой-то здоровенный черноволосый парень толкнул меня, когда проходил мимо вразвалочку, руки в карманы, и не извинился. Я чуть не упал. Костыль взлетел в воздух – как будто этот тип нарочно по нему наподдал. Я растерялся, ощущение было такое, будто мне оторвали руку или вырвали еще что-то ужасно ценное вроде смартфона. Я смотрел, как здоровяк уходит ссутулившись, а на футболке сзади – флаг индейского племени оглала. Колесо из множества белых вигвамов на красном фоне.

Время застыло, я рухнул на землю, потеряв равновесие под тяжестью раскрытого рюкзака и уронив костыль. Поломаный игрушечный солдатик. Ну вот что делать, когда все вокруг сильные и смелые, а ты идиот, хрупкий как спичка? Мне нестерпимо захотелось зареветь и остаться лежать неподвижно прямо у ворот и чтобы никто на меня не смотрел и не пытался помочь. Просто остаться там. Не двигаться. Ничего не видеть. Ничего не чувствовать.

Через три секунды меня подняли – так легко, будто я ве-

сил не больше, чем обрывок тряпочки.

А поднял меня и поставил обратно на ноги тот самый парень в красной футболке. В руке у него был мой костыль, на его ладони казавшийся совсем крошечным. Он пробормотал:

– Без обид, Сломанный Стебель, меня тут просто здорово разозлили, я шел и на что-то наткнулся. Не сразу понял, что это человек...

– А ты думал, это что?

– Не знаю, мусорный бак или что-нибудь вроде того.

– Ты принял человека с костылем, в джинсах и черной куртке за мусорный бак?

– Да, брат, со мной бывает. Держи свой стебель, – сказал он, протягивая мне костыль.

– Ты, наверное, понимаешь, что мне не очень-то хочется тебя благодарить.

– Да ладно, не парься, – бросил он. – Мне надо бежать. Я сегодня первый день в школе. Пока, Сломанный Стебель. Увидимся.

И он пошел своей дорогой, а я так и стоял столбом – до того меня поразила его самоуверенность. К концу нашей микробеседы мне уже самому хотелось извиниться за то, что я напомнил ему мусорный бак.

Я – лис (хромой)

Лисий след, стук костыля. Лисий след, стук костыля. Шаг, стук. Шаг, стук.

Так я хромал по главному холлу лица. Тут собирались все ребята нашей школы. Тут они красовались сами, рассматривали других, соблазняли друг друга. Я шел, прижимаясь к красным шкафчикам. В центральный проход не высывался. Я – перемещался, я – обходил стороной, я – склонял голову. Убегал, избегал, сливался со стеной. Проваливался в пол, устраивал конуру, окапывался, маскировался, исчезал. Вызывал в себе сиюминутную амнезию, обморок, испарение. Хотел стать белой влагой, жидким раствором.

Я не пытался забыть настоящее. Но вот о прошлом мне вспоминать не хотелось. О времени, когда все было просто. Все было хорошо. Раньше я мог пружинить, и тогда шаги мои сливались в одну чистую ноту, в один безукоризненный звук.

В глубине левого кармана я отыскал и судорожно сжал пальцами скомканный листок бумаги. Прошел через холл, крепко стиснув в руке бумажный комок.

Год назад все было по-другому. Тогда мне не нужен был мятый клочок бумаги в качестве талисмана. Я не задавал себе вопросов – а если и задавал, то не так часто. Я ходил.

Такое простое действие – и как только мне удавалось его выполнять не задумываясь? Я даже не осознавал этого, просто ходил, продвигался вперед, бежал. Расталкивал других локтями, мог хорошенько двинуть кого-нибудь плечом. Мог исподтишка поставить подножку. Порой я дрался и однажды здорово получил от Криса Уоринга, ведь он раза в три больше меня. И раз уж я начал с математического сравнения, то им и продолжу – коэффициент интеллекта у него примерно вдвое меньше моего, и это мне казалось вполне достаточным, чтобы считать: я почти победил. На самом деле у меня были разбитая бровь, несколько шишек и многочисленные синяки. Но в глубине души я говорил себе: «А мне плевать, зато я умнее, чем Крис Уоринг!» (Я тут использую выражение «в глубине души», которого, я уверен, Уоринг и знать не знает, еще одно очко в мою пользу.)

Себя мы утешаем как умеем.

И утешенья наши коротки и зыбки.

Отец повесил это стихотворение у себя в кабинете, его написал шведский автор по имени Стиг Дагерман⁴. Оно называется «*Жажда утешения неутолима*», и это очень длинный текст. Я много времени проводил в кабинете, дожидаясь родителей. Трогать тут ничего не разрешалось, поэтому я смот-

⁴ Стиг Дагерман (1923–1954) – шведский писатель и журналист. Страдал психическим заболеванием и в возрасте 31 года покончил с собой.

рел на все, до чего мог дотянуться взглядом. На стихотворении я останавливал взгляд чаще, чем на рамке с фотографией того самого Мозеса Лауфера. Я прочел его раз двести или триста. То есть сначала я на него просто смотрел, но в итоге какие-то отрывки запомнились и иногда вдруг сами собой приходят на ум.

Я знаю, утешенья век – не дольше,
чем ветерка порыв в древесной кроне.

Вообще-то, если вдуматься, меня ведь могли назвать Стигом Виктором Леонардом – вот ведь пронесло! И тогда люди окликали бы меня, а мне бы казалось, что они икают. *Стиг?* Стиг?

Но сегодня это меня не очень-то утешало. Может, утешиться тем, что меня называли Сломанным Стеблем? Ну а что, хотя бы не избито.

– Не устраивайте свалку, пожалуйста! – крикнула миссис Перселл, наша историчка.

Ребята ломались в класс так, будто вот-вот настанет конец света. Я как мог уворачивался и старался держать равновесие на воображаемом канате, который протянул от дома до школьного стула. Так я научился обходить все препятствия, прежде чем триумфально – как рыцарь, добывший священный Грааль, – войти в класс. Избегать мне следовало давок,

углов парт, перевернутых стульев и чрезмерного внимания со стороны некоторых учителей – последнее, честно говоря, было самым трудным.

– Ну сколько раз повторять! – пронзительно верещала миссис Перселл. – Сначала дайте пройти своим товарищам с ограниченными возможностями, им все-таки сложнее, чем вам!

Я страдальчески опустил голову: она говорила обо мне, и это было ужасно стыдно. Стыдно за меня и стыдно за нее. За то, что она так это сформулировала. Что использовала множественное число. Моя попытка стать невидимкой провалилась.

Передо мной, инвалидом, с почтением расступились, как перед важным гостем. Круто. Мертвая тишина воцарилась вокруг всех учащихся с ограниченными возможностями. Миссис Перселл сказала «им», но кого она хотела обмануть? Инвалид в нашем классе был в единственном числе, и этот инвалид был я. Мои шаги застучали и защелкали на весь кабинет истории. Наконец я добрался до стула и тяжело опустился на него. При этом забыл прикрепить костыль к краю стола, и стальная дура рухнула на пол. Я закусил губу, услышав, как она загремела. До чего же мне хотелось снова стать тем, кем я был до постели, до скальпеля, до фиксаторов и мазей, которые опрокинули всю мою жизнь. Казалось, я – гигантский осколок, и горе тому, кто попытается подойти ко мне слишком близко.

Миссис Перселл начала переключку. Левая бретелька лифчика у нее то и дело спадала, и это ужасно отвлекало. Она ее поправляла, но каждый раз напрасно: ослабленная ленточка снова медленно и упорно сползала с плеча. Когда учительница назвала Криса Купера, бретелька была на уровне локтя. А ведь список еще только начинался. Просто мучение какое-то – каждое утро наблюдать эту сероватую непослушную полоску ткани. Казалось, к концу переключки лифчик окажется на учительском столе.

Ну да, согласен, я уделяю слишком много внимания деталям вроде бретельки и меня можно принять за озабоченного, но я не такой. Нечто подобное я замечал и за нашим биологом мистером Уайтом – а он, понятное дело, под футболкой никакого лифчика не носил. У него была другая проблема – усы. Он их беспрестанно поглаживал. И именно правую половину. Левую – *никогда*. Люди – очень странные. Он проглаживал половину усов, потом перепроглаживал, потом пере-перепоглаживал – это был цикл из трех четких движений, причем каждое другим пальцем. Пф-ф! Пожалуй, лучше я не буду про это. Так недолго и самому стать психоаналитиком – если присматриваться к разным человеческим странностям.

Короче, когда миссис Перселл добралась до моего имени, ее бретелька опять на бешеной скорости стремилась к локтю, а сама она, как обычно, обратилась ко мне со своей любимой фразочкой, причем с таким видом, будто она ее только что

придумала и произносит впервые. Но, ясное дело, она произносила ее не впервые. Конечно, не впервые.

– Может, уже выберешь какое-то одно? – воскликнула она и состроила совершенно невыносимую гримасу, глядя на мое имя в классном журнале.

Просто она так и не смогла запомнить, как меня полагается называть.

– Мозес, миссис Перселл. Если вас не затруднит, называйте меня, пожалуйста, Мозес.

Ну вот! Мало того что я и так уже от стыда почти целиком сполз под парту. Ей понадобилось добить меня еще одной ответной репликой, которую она всегда произносила с победоносной уверенностью:

– Очень хорошо, Мозес Лауфер Виктор Леонард. В классе я буду звать тебя Виктор.

Вот так-то: было еще только девять часов утра, а я уже по самую макушку погрузился в беспроглядный мрак и стыд.

Внезапно миссис Перселл прервала свою усыпляющую монотонную речь и истошно завопила. По крайней мере, лично мне показалось, что она вопит, но не поручусь: возможно, я просто слегка задремал.

– У нас новый ученик. Прошу любить и жаловать. Представьтесь, пожалуйста! – обратилась она к плотному пятну в дальнем ряду моих одноклассников.

Одноклассников? Правильнее было бы сказать – каких-то школьников, которых я перестал различать. Для меня они

делились на «тех, что сзади» и «тех, что впереди». Я входил в кабинет вслепую, без всякого желания идентифицировать одноклассников. Меня они тоже не идентифицировали. И все же из школьных коридоров до меня иногда долетали злые насмешки. Меня называли «металлистом». Смешно, правда? Просто умереть со смеху.

– Ратсо, – отозвался мрачный голос.

– Представьтесь полным именем, – попросила миссис Перселл. – И встаньте, пожалуйста.

Я оглянулся и увидел того самого здоровенного парня-индейца в футболке с символом оглала. Здесь, в кабинете, он выглядел просто великаном. Футболка коротка, из-под нее торчит большой толстый живот. А джинсы этот тип носил очень низко, вот по-настоящему низко. Все вместе это выглядело ужасно. Как будто его тело решило, что не будет иметь ничего общего с одеждой. *Ага, значит, вы туда? Ладно, а я тогда – сюда, мне с вами не по пути!* В результате футболка подтянулась куда-то вверх, а живот сполз книзу. Не хотел бы я оказаться рядом, когда ему понадобится нагнуться.

– Значит, звать меня Ратсо Сефериан.

– В классе пользуйтесь, пожалуйста, литературным языком. Нужно говорить «меня зовут», а не «меня звать». Когда разговариваете с учителем, произносите каждое слово четко и внятно. И скажите, пожалуйста, Ратсо Сефериан, откуда вы?

– Из соседнего лица.

– Правда? Ну что ж, по крайней мере вам не пришлось проехать через весь штат, чтобы к нам присоединиться.

– Они меня выперли, мэм. Из соседнего лица.

– Я так и подумала, Ратсо Сефериан, – с ухмылкой произнесла миссис Перселл.

– Можно просто Ратсо, мэм.

– Хорошо, Ратсо. Если вы не возражаете, мы вернемся к нашему обычному учебному процессу, и сегодня у нас по плану доклад Мозеса на тему важной главы нашей истории. Мозес расскажет нам про народ лакота.

Я страшно волновался. Это был мой первый устный ответ после аварии. Я и раньше-то не слишком хорошо держался на публике. И когда я говорю «держался», для меня это не пустой звук. На прошлой неделе я предупредил миссис Перселл, что мне не надо создавать никаких особых условий. Я буду делать доклад как все, то есть стоя у доски. Учительница, конечно, представляла себе, что я усядусь на стул перед всем классом, но для меня это было совершенно невыносимо.

Моя соседка по парте, Жади, одна из самых симпатичных девчонок в лицее и к тому же очень необычная (у нее привычка носить на голове разноцветные тюрбаны), прошептала мне на ухо:

– Помочь тебе обустроиться?

Я поперхнулся и чуть не задохнулся. Вообще-то она мне немного нравилась, но тут просто вывела меня из себя.

– Вот спасибо, уж как-нибудь обойдусь.

Обустроиться! Еще бы шведской мебели мне подогнала в картонных коробках! Иногда люди, даже самые добрые, подбирают совсем не те слова, которые нужны. Мне это напоминает развивающие игрушки для малышей, когда надо в пластмассовый ящик просовывать предметы разной формы: желтый круг, синий треугольник, красную звездочку. И вот мне было без разницы, какие слова говорят мне люди, – все дело в форме. А она вечно оказывалась не та. Не соответствовала моему уху. Я хотел услышать звездочку, а мне говорили треугольник. Ничего не пролезало, не подходило, и все меня бесило. Наверное, проблема была во мне самом... кто знает? Сколько бы я ни проталкивал внутрь себя какое-нибудь слово – оно мне не нравилось.

В общем, когда Жади предложила помочь мне «обустроиться», я скривил страшную рожу. А она посмотрела на мое лицо и решила, по своей логике, для меня непостижимой, что у меня разболелась эта уродская нога. С удвоенным сочувствием вскочила из-за парты и взяла меня под руку. Мне захотелось умереть на месте – так далека была моя вселенная от ее.

Лицо мое скривилось еще сильнее. Я сердито нахмурил брови и выпятил грудь. Потому что... нет, ну а что. Я ведь все-таки парень. И вот я ответил ей твердым и хриплым голосом:

– Слушай, отвали, а? Я же тебе сказал, что обойдусь. И

чего ж это вы, девчонки, никогда ничего не понимаете с первого раза!

Лицо у Жади стало того же цвета, что и ее красный тюрбан. Ну еще бы. Предупреждал же: я не подарок.

Теперь ни за что нельзя было опозориться: например, рухнуть, вставая со стула. Тогда бы все мое высокомерие пошло прахом – если, конечно, оно у меня вообще было.

Я с достоинством направился в сторону учительского стола.

В правой руке костыль.

В левой – доклад.

В голове – изящество, легкость, птица, ветерок, перья, индейцы, Ратсо.

В голове – жирное пузо, Сломанный Стебель, костыль, авария, отец, мать.

Эх! Намечался полнейший провал.

Я вышел к доске, чувствуя себя мыльным пузырем, готовым лопнуть от укола иглы в сердце. Слабак и развалина, а голова – пустая, как в день появления на свет.

– Сегодня я... Сегодня я... Сегодня я хочу рассказать вам о народе дакота. То есть... То есть лакота, извините.

– Мозес Лауфер Виктор, мы вас слушаем, – перебила меня миссис Перселл.

– А я и *говорю*: о народе лакота.

Я перенес вес тела на левую ногу; кажется, я дрожал, и, по-моему, это очень бросалось в глаза. Взгляды однокласс-

ников были направлены на меня, и ощущение от этого возникало такое, будто мы на войне и передо мной армия, которая внимательно меня разглядывает, наблюдает за мной, прикидывает, выдержу ли я удар. Я уткнулся в доклад, перед глазами все плыло, как в тумане. Буквы на странице пустились в безумный хоровод, заплясали с индейцами лакота дикий танец.

И вот именно эту фразу меня угораздило произнести вслух, я даже не сразу это осознал.

– Пляшут с индейцами лакота дикий танец.

– Простите, Мозес Лауфер Виктор? – удивилась миссис Перселл. – Что вы сказали?

Я услышал, как на задних партах кто-то расхохотался. Метнув туда быстрый взгляд, увидел: это Ратсо там помирает со смеху, повалившись на парту. Я постарался взять себя в руки и сделал вид, что ничего не произошло: механическим голосом начал зачитывать введение к докладу, и буквы снова встали на прежние места.

Лакота проживают в Северной Дакоте и в Канаде. Вот семь племен, объединенных под этим названием: брюле («Обожженные бедра»), оглала, итазипчо («Не имеющие луков»), хункпапа, миннеконжу, сихасапа и оохонунпа («Два чайника»).

Название «лакота» происходит от слова, означающего «чувство привязанности», «дружба», «единение», «союз», «дружелюбие». А слово «сиу» переводится как «змейка» или «враг». Поэтому

сами лакота, конечно, не называют себя этим уничижительным именем.

Джеймс Райли Уокер, который провел в племени лакота-оглала в резервации Пайн-Ридж (Южная Дакота) восемнадцать лет (с 1896-го по 1914-й), в своей книге «Община лакота» сообщает, что название «Дакота» происходит от «Да» («считается кем-то») – на языке лакота это звучит как «йа» – и «кода» («друг») – на языке лакота произносится «кола». Лакота говорят на трех схожих «диалектах», которые трудно отличить друг от друга. Существенно они различаются только в произношении: носители диалекта санти называют себя «Дакота», те, кто говорит на диалекте янктон, – «Накота», а носители диалекта тетон – «Лакота». Но на самом деле всё это один народ.

Название «сиу» пришло из французского: французы когда-то таким образом преобразовали алгонкинское слово «надоуэсси» («маленькие враги»). То же самое слово на языке оджибве означает «гремучая змея» или «гадюка». Множественную форму – «надоэссиуак» или «надоэссийак» – французские охотники сократили до «сиу».

Индейцы лакота, как и другие коренные народы, с прибытием белых людей стали жертвами эпидемий, а чуть позже – геноцида. Со временем между индейским народом и колонистами были заключены множественные договоры, но поселенцы соблюдали их недолго, и территория, отведенная народу лакота, постоянно сокращалась.

К этому прибавлялось истребление бизонов, которое положило начало голодным временам. Сегодня лакота по большей части обитают в пяти резервациях на юго-западе Южной Дакоты: Роузбад (тут живут верхние брjеле), Пайн-Ридж (племя оглала), Нижние Брjеле (резервация нижних брjеле), Шайенн-Ривер (где проживают многие племена народа лакота, например черноногие и хункпапа) и Стэндинг-Рок (тоже населенный разными племенами).

Представители коренного населения ударились кто в азартные игры, кто в сельское хозяйство, кто в туризм. Но в некоторых резервациях уровень жизни сопоставим с уровнем в развивающихся странах.

Когда я дочитал вывод, в классе повисла мертвая тишина, все как будто уснуло. Даже миссис Перселл казалась почти такой же сонной, как остальные: она подперла ладонью подбородок и смотрела в никуда безо всякого выражения – взгляд, не оставлявший ни малейшей надежды на хорошую оценку. Признаюсь, в процессе подготовки доклада я частенько заглядывал в «Википедию». Ну а если совсем честно, просто все оттуда скопировал.

– Мозес Лауфер Виктор, я не знаю, что сказать. По-моему, задание выполнено немного поверхностно, и к тому же большая часть доклада – информация, взятая из инт...

– И это всё? – раздался вдруг голос с задних парт. – Больше тебе рассказать нечего, брат?

Я не двигался с места, не понимая, чего от меня хочет этот

Ратсо.

Он встал со стула и уперся кулаками в стол, вид у него при этом был устрашающий. По крайней мере лично мне стало как-то не по себе.

А Ратсо продолжил, и довольно громко:

– На хрена было рассказывать про все эти «ла» и «кота», если у тебя доклад заканчивается вот так? Черт, не, ну это ж надо! Про алгонкинские языки рассказал, твою мать, и сколько всякой пурги нанес, а сам понятия не имеешь, как там все теперь выглядит.

– М-м... Что?

Похоже, наезд был серьезный.

– Успокойтесь, Сефериан, – вмешалась миссис Перселл. – Я понимаю, что вы имеете в виду, но держите себя, пожалуйста, в руках, мы с вами не в Вундед-Ни*. Вы всегда все принимаете так близко к сердцу? И столь остро реагируете? Тогда понятно, за что вас исключили из прежней школы.

Я видел, как Ратсо смерил миссис Перселл долгим взглядом. В его глазах мелькнуло не то презрение, не то глубокая обида – я никогда не умел отличить одно от другого. Учительницу он ответа не удостоил, снова повернулся ко мне.

Я не понимал, чего он так на меня взелся. Он вскинул вверх обе руки и резко бросил их вниз, они безвольно повисли вдоль тела. Жест отчаянной досады – обычно родители так выражают глубокое разочарование в собственных детях.

Я стоял и молчал. Наши взгляды встретились, его губы

растянулись в жутковатом оскале. На лице читалось жестокое крушение надежд.

Не сводя с меня глаз, Ратсо дрогнувшим голосом произнес:

– Прошу прощения, миссис Перселл, мне не следовало так бурно реагировать.

Он по-прежнему смотрел на меня, прямо на меня, как будто хотел спровоцировать ответный взрыв, но я все не мог понять, чего он так разошелся.

– Что значит – я не понимаю, как там все выглядит? – наконец решился я спросить. Эти его слова не шли у меня из головы.

Ратсо опустил взгляд и сел, пробормотав себе под нос:

– Реальная жизнь в резервации в наши дни. Это... Это просто... Пф-ф! Ладно, проехали, Сломанный Стебель. Я больше ничего не скажу.

– Ратсо и Виктор, что это за спектакль? – возмутилась миссис Перселл. – Вы, оказывается, знакомы?

– Нет, миссис Перселл, просто встретились перед уроком в коридоре, – ответил я.

Ратсо с хмурым видом сидел за партой, согнувшись почти вдвое. Видно было, как ему хочется стать крохотным и незаметным, но ничего не выходило. Невозможно не обращать внимания на учащегося размером с телят.

– Ну что ж, вернемся к нашим баранам, в данном случае – к вашему докладу, Мозес Лауфер Виктор, – сказала миссис

Перселл. – Больше тройки вы, к сожалению, не заслужили. К выполнению задания вы определенно подошли без интереса и не стали слишком себя утруждать. Надеюсь, в свой следующий доклад вы вложите побольше страсти. Я же не могу все вам прощать, даже с учетом вашего состояния, – прибавила она.

Эх, тут бы мне хлопнуть дверью и уйти на все четыре стороны. Но я сдержался, потому что меня вообще ничего и никогда не способно вывести из себя. Хотя поводов хватает: в лицее, дома, в больнице, в супермаркете и вообще везде. Меня взбесил притворно-сочувствующий тон миссис Перселл. Мое *состояние*, мое *положение* — от этих ее слов меня просто тошнит. Но я умудрился сохранить спокойствие – на оценку все равно плевать – и сел обратно за парту. Жади на меня даже не взглянула – обиделась, конечно, что я так на нее рявкнул. Когда я попытался прислонить костыль к парте, он снова упал – с тем металлическим грохотом, который напоминает мне истошный вой. А нагнувшись, чтобы его поднять, я увидел, как мимо пронеслись чьи-то ноги. Это были ноги Ратсо, он ушел, хлопнув дверью. Представление было окончено.

Голова кружилась. И нога ужасно ныла – я буквально чувствовал, как она скукоживается, сохнет. Моя нога выцветала и увядала, как старый зонтик, забытый на чердаке в середине лета.

Я вернулся домой и с удивлением обнаружил, что не в си-

лах перестать думать о Ратсо.

Я – суспензия

Я смотрел это видео на «Ютьюбе» в десятый раз подряд. И накануне, и все предыдущие дни тоже. Сам не понимал, что делаю. Узнай об этом родители, они бы круто напряглись. Не знаю, что это значит с медицинской точки зрения, когда человек моего возраста раз за разом пересматривает видео, в котором мама-панда пугается того, что ее малыш-панда чихнул. Я встречал в книжках психоаналитиков научные термины типа «ОКР» или «обсессивно-компульсивное расстройство».

Но слова «панда» я там ни разу не видел.

Я не был чокнутым, ничего такого. Но почему-то просто вынужден был целыми днями пересматривать это видео. Оно меня смешило, как будто промывало мозг после школы, и удавалось на несколько минут забытья. Я обожал это состояние оцепенения. Вдруг оказываешься внутри ватного комка и решаешь, что, пожалуй, останешься там навсегда. Больше ничто и никогда не заставит тебя выбраться наружу.

Потом я посмотрел два других видео, тоже с пандами: одни катались с мини-горки, другие пытались выбраться из манежика для малышей. Они ведь просто большие плюшевые мишки, невозможно поверить, что это настоящие животные. Нежные, медлительные, невинные – потому и кажутся игрушечными. И полное ощущение, что они неуязвимы и с ними

никогда не случится ничего плохого. А в этом видео панды были еще и невозможно упрямыми: без конца поднимались и спускались по горке, снова и снова, и убегали из манежика – снова и снова, хотя смотрительница методично возвращала их обратно в загончик. Я мог наблюдать за этим часами.

За окном шумел дождь, но на слух это было больше похоже на кран с водой, который открыли на полную мощь и забыли завернуть. Боль в ноге снова проснулась.

Я пошел в ванную – принять лекарство. Проглотил таблетку; в коробочке их уже почти не осталось. Обезболивающее мне разрешалось принимать три раза в день. Так я и делал. Болело всегда, с самого начала, улучшением даже не пахло.

С первых же дней после аварии я собирал пустые коробочки из-под таблеток и складывал их в резной деревянный сундук, стоящий под кроватью. Бывало, открывал его и смотрел на коробочки, пустые, будто выпотрошенные. У меня их накопилось много – маленьких картонных призраков, напоминавших о моих грехах. Иногда я их пересчитывал. По вечерам, перед сном. Или по утрам, перед уроками.

Я придвинулся вплотную к зеркалу и стал рассматривать свое лицо. В радужках видны были крошечные белые пики, а если приглядеться повнимательнее, начинало казаться, что там есть и моя мать – маленькая, как кукла, она сидела у меня в глазу. Улыбалась мне, ходила и бегала по горным вершинам – прекрасным, как Гималаи.

Но тут мечты как рукой сняло, потому что я заметил ужасный прыщ, который начинал расти у меня на лбу. Не прыщ, а целая скала. Теперь придется ломать голову, как завтра перед уроками его замаскировать.

Из-за двери отец сообщил, что ужин готов. Я на секунду закрыл глаза в надежде, что лекарство подействует быстро. Еще раз напоследок посмотрел видео с чихающей пандой и только после этого вышел к матери (холодной, как металл) и отцу (не произносящему ни слова).

В отношении моей матери важно отметить, что она с беспримерным рвением старалась казаться беззаботной и вполне трудоспособной. Вот и сейчас, войдя в кухню, я увидел ее перед открытой духовкой, откуда она собиралась во что бы то ни стало достать баранью ножку. Как ни в чем не бывало. *Инвалидное кресло, да господи боже, я и не замечаю, что сижу в нем! Что? У меня ноги парализованы? А я и не поняла!*

Выходило не очень-то убедительно.

Конечно, заикливаться на проблеме тоже не следует, но ведь всему есть предел.

Отец не стал церемониться.

– Послушай, и как ты собираешься перемещаться по кухне, если у тебя в руках горячий противень и нечем крутить колеса?

В отношении моего отца важно отметить, что он был просто чемпионом в области банальности и приземленности. Получается, они составляли идеальную пару, наверное,

именно так они когда-то друг друга и выбрали: заполнили что-то вроде анкеты, и чем более непохожими оказывались их ответы, тем сильнее их друг к другу влекло. Ну, по-моему, это похоже на правду.

– У меня есть муж, есть сын и есть даже баранья ножка. О чем еще может мечтать женщина? – с усмешкой ответила она, передавая противень отцу.

Он подхватил мясо, поставил блюдо на середину стола, и все мы устроились вокруг. Дождь за окном не утихал.

Мама расставила на красивой тряпичной скатерти несколько свечек, в их отблесках наши лица походили на круги света, они плыли и колыхались, сами как дрожащие языки пламени. Все кругом теперь казалось нереальным, будто сотканным из огненного тумана. На лице у мамы сияла улыбка, но я не понимал, чему она улыбалась. У отца лицо было суровое, замкнутое, губы плотно сжаты, веки бледные – и они сразу опустились, как только я на него посмотрел. Интересно, может ли под веками помещаться вся вселенная вместе с небом, дождем, грозой и молнией?

Хорошее настроение маму так и не покинуло, поэтому она завела веселую застольную беседу.

– Тим, ты не забыл проверить качели?

Отец возвел взгляд к потолку – то ли потому что забыл, то ли хотел так выразить свое отчаяние.

– Забыл, – ответил он. – Ноя всё как следует обдумал и пришел к выводу, что это абсурд. Все равно что подарить

зажигалку человеку, который не курит. Извини, но в этом просто нет смысла.

– Возможно. Но это как подарок. Получить подарок – всегда приятно, даже если им не воспользуешься, – ответила мама, взглянув отцу прямо в глаза.

– Не знаю, посмотрим, – сказал он, склонившись над пустой тарелкой.

– Можно уже приступить к бараньей ноге? – робко напомнил я.

– Когда закончим с качелями, – улыbnулась мама.

Я давно подозревал, что моя мать – актриса, причем талантливейшая. Самая талантливая из всех актрис в инвалидных колясках. Год назад ей сообщили, что она больше никогда не сможет ходить, и она как ни в чем не бывало ответила врачу: «Ну и хорошо – значит, буду уставать меньше других».

Казалось бы, оптимизм – незаменимая вещь в трудную минуту, но мне тогда стало ужасно не по себе. По-моему, было бы гораздо лучше, если бы она заплакала. Когда она сморозила эту шутку в больничной палате, я был там, и отец, конечно, тоже. Даже врач, и тот со вздохом уставился на носки своих туфель и опустил плечи. Я говорил себе, что это такое прикрытие, что в один прекрасный день она не выдержит и расклеится, осознает страшную правду и скажет, что все произошло из-за меня, вытаращит глаза, у нее будут трястись руки и рот исказит страшная гримаса гнева и горечи.

Но пока ничего подобного не происходило, и я жил в состоянии тревожного ожидания. Все-таки, когда психиатр отказывается признать собственную проблему, это как-то чересчур.

Мама всегда была шутницей, но после аварии эта ее черта стала как-то сильнее бросаться в глаза. Не знаю – может, ей по профессии так положено: психоанализ пропитал самые потаенные уголки ее души и теперь она живет так, будто инвалидность – это не очень-то и страшно?

Что же до отца, то дальше вопросов мои мысли о нем не заходили. У себя в кабинете он имел дело с очень тяжелыми случаями и с очень двинутыми людьми – либо с очень больными, либо с очень несчастными. Я представлял себе (и, думаю, был прав), что он наверняка разговаривает с ними так, как говорил со мной, своим сыном, до аварии. Теперь между нами выросла стена, и больше он со мной никогда не беседовал. Посматривал – это да, частенько, но украдкой, и тут же опускал взгляд. Там, у него под ногами, зрелище было уж наверное куда увлекательнее, чем лицо родного сына. Отец был книгой, которую невозможно читать. Некоторые его загадки мне было попросту страшно разгадывать.

Пока суд да дело, я набросился на баранью ножку, жутко вкусную. Мать беспрестанно улыбалась, как будто уголки ее губ кто-то тянул вверх за невидимые ниточки.

А может, мы все трое и впрямь были всего лишь марионетками, которых кто-то усадил вокруг стола. От этой мысли

у меня во рту стало горько.

Отец ненадолго нарушил молчание, чтобы рассказать, как прошел его день, упомянул нескольких пациентов – конечно, не называя имен. Подобные разговоры у нас случались и до аварии, и отец всегда рассказывал одинаково: придумывал пациентам цветные псевдонимы. Я слушал рассказы о мистере Желтке, миссис Сирень, миссис Синьке, мистере Розе, и вечер за вечером из этих выдуманных имен вырастала радуга красок и симптомов, неврозов и нюансов, тиков и оттенков. Я слушал вполуха и никогда не сосредотачивался на содержании – только на музыке, которая в итоге получалась.

В тот вечер отец упомянул случай миссис Корицы – она жила в постоянном страхе, что ее сын простудится и станет кашлять. Отец с матерью обменялись соображениями и наблюдениями, тема их явно увлекла. После аварии мать не перестала консультировать, просто сократила часы приема, объяснив это так: «В конце концов, я ведь все равно сижу за столом». Сейчас она вдруг повернулась ко мне и сказала:

– Кстати, Мозес, тебе завтра к врачу. На этот раз с тобой поедет папа.

Новость меня ошеломила, от страха я начал заикаться.

– Но... но... но ведь... обычно со мной ездить ты. Как же так?

Я взглянул на отца – он был рад не больше моего.

– Милый, на этот раз без меня, – твердо сказала мать. – У меня в это время прием, не удалось найти другое окошко.

Тебя отвезет папа, и все будет хорошо, не волнуйся.

Я не решился протестовать, потому что знал, чего стоило матери вывести машину (специальную инвалидную модель), выбраться из коляски и усесться за руль, пока я складывал коляску и грузил в багажник. А в больнице нужно было проделать все то же самое, но в обратном порядке. Видок у нас был тот еще: я – с костылем, она – в инвалидном кресле, но, по мне, лучше уж выглядеть безумной парочкой инвалидов, чем сносить ужасные взгляды отца. Мне постоянно казалось, что вот сейчас он выплеснет всю свою ярость мне в лицо, окатит запоздалой волной, которую так долго сдерживало зимнее море, и эта волна ударится мне в ноги, кипя белой пеной, гневом и холодом. Изю дня в день я, по иронии судьбы, все ждал его нервного срыва.

За окном, над садом, повис стеклянный туман. Сквозь завесу прозрачной воды проступали лишь размытые линии веревок качелей, но дощечки, на которую надо садиться, видно не было. Веревки казались подвешенными к небу. Сливовое дерево будто растворилось в воздухе.

Я взглянул на свою едва начатую порцию. Есть расхотелось.

– Можно мне выйти из-за стола? – спросил я.

– Только не забудь перед сном сделать упражнения, хорошо? – напомнила мать, как обычно.

– Да, мам.

День совершил полный оборот и вернулся в исходную

точку. А я нисколько не изменился.

Я – безнадежность

Знакомый голос проинформировал меня, что я снова опоздал, и это была полная чушь – ведь я простоял у ворот лица уже как минимум минут двадцать. Я замерз, в рот задувал ледяной ветер, челка козырьком торчала надо лбом, и это меня страшно бесило: с утра я полчаса провозился, чтобы замаскировать волосами огромный прыщ, который вскочил на лбу. Гель для укладки, который я купил в супермаркете, – это, честное слово, полная чушь. Ветерок едва налетел – и прощайте, отчаянные попытки причесаться. Когда я вышел из ванной, мама рассмеялась:

– Мозес, ты уверен?

– В чем? – спросил я, изобразив удивление.

– В том, что у тебя на голове. Никуда не годится. Можно подумать, ты лысый и пытаешься прикрыть плешь!

– Мам, ну ты чего, у меня все волосы на месте! – возмутился я.

– В том-то и дело! Но вид такой, будто ты их начесал, а потом еще заплел в макраме!

Я покраснел как помидор и неохотно вернулся к зеркалу в ванной. Осмотрел себя и крикнул:

– Ты ничего не понимаешь! Это стильно, так все делают. (Вообще-то я сам себе не верил, ни единому слову.)

– Мозес, я же тебе помочь хочу. Ты выглядишь нелепо.

– У меня есть на то причины, тебе не понять.

– Лосьон от прыщей – в шкафчике рядом с душем, – сказала она. – Я, представь себе, тоже когда-то была подростком.

– Да, но я-то парень. Это совсем другое.

– Пф-ф! Ну конечно! Вы ничем не отличаетесь от нас, девчонок, – усмехнулась она и укатила прочь по узкому коридору.

У меня просто руки опустились. Я окончательно перестал понимать, в каком направлении уложить волосы, в итоге все оставил как есть, и макраме, к сожалению, так никуда и не делось.

Я думал о своей прическе и о сатанинском студеном ветре, который убивал мои последние парикмахерские надежды, когда передо мной возник Колин. Его лицо вдруг оказалось прямо у меня перед носом, огромное, как планета, свернувшая с орбиты и едва не налетевшая на астероид под названием Мозес Лауфер Виктор Леонард.

– Ну что, принес?

– А поздороваться язык отвалится, да? – огрызнулся я.

– Подумаешь! – махнул он рукой. – К тому же – ты заметил? – ты опять опоздал!

– Да ты чего! Я тут уже пятнадцать минут торчу из-за твоих дурацких карточек.

– Ладно, ладно, шутка! – выкрикнул Колин и расхохотался.

Одна из проблем Колина состояла в том, что он считал себя смешным, ну, типа, просто умереть до чего. И сколько бы я ему ни объяснял, что юмор у него дурацкий, – так нет же, он был убежден, что является лучшим комиком в городе. Нет, серьезно: над его шутками вообще никто не смеялся, и это насторожило бы любого. А он, видимо, считал, что это не важно.

– Подожди, у нас ведь был уговор. Я меняю черного мага на большого индейца. Мы так договаривались, в Сети, – напомнил я.

– А я и не отказываюсь, – ответил он.

– Эй, на что ты там меняешь большого индейца? – раздался голос у меня за спиной.

Это был Ратсо, я и не заметил, как он появился. Его круглое пузо так и распирало коричневую хлопковую футболку, и толстые румяные щёки производили просто неизгладимое впечатление. Ну, не знаю, как сказать, он был весь с ног до головы какой-то выпуклый, и даже голос, когда Ратсо что-то говорил, звучал округло и как будто колыхался в воздухе.

От моего стыда воздух вокруг загустел, мне захотелось исчезнуть. Конечно, сейчас он себе навоображает всякого, например что я расист или еще что-нибудь в этом роде.

– Ты про меня тут говорил? – прошипел он сквозь зубы.

– Да нет, что ты! – запротестовал я.

– А это еще кто? – спросил Колин, удивленный, что кто-то посмел отвлекать его в момент такой важной сделки.

Я посмотрел на рот Ратсо, пещеру с темной пустотой внутри.

Он наклонился к Колину – пришлось согнуться почти вдвое – и с угрожающим видом ткнул его пальцем в грудь:

– Это что вообще такое? По-твоему, я стою не больше, чем черный маг? Ну-ка дай сюда!

Он выхватил у Колина карточку.

Я не понимал, всерьез он говорит или шутит. Мне было и страшно, и весело. Лицо Колина стало похоже на суповую миску, он даже как будто дышать перестал.

– Знаете что, парни? Индейцы больше не носят перьев на голове и не раскрашивают рожи для маскировки. Вы, надеюсь, в курсе?

Я не мог оторвать взгляд от его губ и все это время молчал, хотя Колин махал руками, призывая на помощь. Руки у него были как синие крылья мельницы в разгар грозы.

– А ну верни карточку, а то я тебя уничтожу! – пригрозил Колин.

Ратсо повернулся ко мне и спросил:

– Он это серьезно?

Я решил включиться в его игру, сообразил, что все это с самого начала было всего лишь грандиозной шуткой, все было не по-настоящему и с нами ничего плохого не случится, со мной ничего плохого не случится.

– Думаю, да. Колин – опасный человек, когда дело касается карточек.

Я смотрел, как Колин трясет своими маленькими, почти прозрачными кулачками – ну прямо младенец, который требует бутылочку, – но лицо его при этом выражало такую решимость, просто с ума сойти. Я как будто присутствовал при битве Давида и Голиафа, с той разницей, что тут все выглядело ненастоящим, нет, ну правда, все такое слепленное из папье-маше – всё, кроме Колина. Казалось, дело происходит на экране и сейчас фильм поставили на паузу. Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.

Тут лицо Ратсо медленно озарилось улыбкой. Колин, похоже, ничего не понимал, совсем потерялся в своей вселенной карточек, обменов и сделок.

– Да ладно, шпингалет, я пошутил! – объявил Ратсо.

Видимо, такой у него был стиль: ведро холодной воды – с размаху и прямо в лицо.

Колину это совсем не понравилось, я почувствовал, как сильно он рассердился. Уселся на землю, прямо на пути у идущих в лицей, раскрыл два своих альбома и давай пересчитывать карточки в пластиковых кармашках.

– Надеюсь, ты тут ничего не испортил, а то пожалеешь, что со мной связался!

Видно было, что Колин растерян и сам толком не понимает, действительно ли Ратсо хотел ему вмазать. Упертый он был просто на удивление.

Я внимательно изучил лицо Ратсо, потом – Колина и там чего только не увидел: например, открытую партитуру, а в

ней – половинки и четвертинки, восьмушки и шестнадцатые, хоть я и не понимаю ничего в нотах и музыке. У других лица были неинтересные – они как будто слишком долго пролежали на полке, вдали от света, в облаках мелкой пыли. В них я не улавливал ничего – ни припева, ни мелодии, ни мотива, который мог бы принести утешение.

Рядом с Ратсо я слышал старый добрый рифф из песни «*Бум бум*» Джона Ли Хукера⁵. А в случае с Колином мелодия напоминала ритмичный звон колокольчика или глубокий радостный звук клезмерского кларнета, хотя это, конечно, бред полный, согласен.

Ратсо тоже решил сесть, и положение мое стало вдвойне неловким.

Во-первых, пришлось сделать вид, будто я не вижу того, что очень даже видел, – ну вот реально, кому понравится лицезреть то, что торчало из его слишком низко спущенных штанов. Нет, серьезно – спасибо, только не это! Но его, похоже, вообще не смущало, какая там часть его тела вывалилась на всеобщее обозрение.

И во-вторых, теперь я один стоял, а они оба сидели. Стоял один я – поскольку усесться не мог. Именно я – с моей искалеченной спиной и неработающей ногой. Стоял я – и горло у меня пересохло так, словно я опаздывал на трудный экза-

⁵ Джонни Ли Хукер (1917–2001) – афроамериканский певец и композитор. Рифф – характерный для джазовой и рок-музыки мелодический повтор внутри музыкальной пьесы или песни.

мен. Попробуй я сесть – стал бы похож на шарнирную куклу, тупую, механическую. Я сразу отказался от этой мысли и задумался над тем, как удивительно похожа моя нога на арахисовую скорлупку: нажми посильнее – треснет и разлетится на мелкие обломки.

После аварии я очень похудел. Я долго лежал в больнице и никому этого не советую. Все, что говорят о больничной кормежке, – чистая правда, я мог бы даже выступать с лекциями или написать об этом книгу. Кормежка реально омерзительная, другого слова не подберешь. Мама была того же мнения. Мы лежали на одном этаже – очень удобно обмениваться впечатлениями. Однажды она заявила, что человек, который занимается приготовлением больничного пюре, стопроцентно пережил в юности серьезную травму – только этим можно объяснить, как ему удастся создавать нечто настолько отвратительное и не похожее вообще ни на что.

Мы с ней потеряли двадцать один килограмм на двоих.

Впрочем, папа тоже похудел. Но он похудел сам по себе, без помощи больничной кухни. Папа лишился аппетита от потрясения: у него на руках неожиданно-негаданно оказалось сразу два инвалида.

Мы все почти полностью сменили гардероб. Выйдя из больницы, я снова стал влезать в одежду для четырнадцатилетних. Мама забросила свои юбки и платья, и дом наш стал царством брюк и угловатых, как металлические вешалки, плеч.

И вот теперь я стоял над Колином и Ратсо и хотел бы что-нибудь сказать (чтобы хоть немного почувствовать себя участником к их компании и не умирать от стыда, что не могу сесть с ними вместе), но не сумел произнести ни слова. Рот превратился в бессмысленную, продуваемую ветром дыру. Я изо всех сил сжал в руке костыль.

Ратсо дернул меня за штанину, как будто предлагал сесть. Я сделал вид, что не понял. Он продолжал беззлобно подтрунивать над карточками Колина.

– А ковбои в этой твоей игре есть?

Колин, ученик младшей школы, относился чрезвычайно серьезно ко всему, что касалось его увлечения, поэтому вопрос Ратсо его конкретно зацепил.

– Да нет же, что ты! Это волшебные персонажи, ковбои тут вообще ни при чем. Ты бы еще сказал – мэр города или президент Обама! Этого так сразу не объяснишь, слишком сложно. Тут требуются годы работы и коллекционирования! Меня только Мозес в состоянии понять.

– Мозес – это кто, твой друг?

Я был разочарован и глубоко оскорблен: мне-то казалось, что я для него хоть немного да существую. Я вдруг почувствовал себя не просто обыкновенным, но еще и гиперпрозрачным. Уж если даже костыль и кривая нога не выделяли меня из толпы, то дело совсем плохо. Видимо, выше уровня мусорного бака мне уже не подняться. Класс!

– Ты что, тупой? – изумился Колин. – Мозес – вот он, стоит с тобой рядом.

Не оглянувшись и не обратив внимания на то, что сказал Колин, Ратсо отчетливо произнес:

– Дело в том, что у него со вчерашнего дня другое имя.

Я нахмурился; Колин тоже.

– В смысле? – спросил я.

– У меня есть дар, достался в наследство от предков. Мой дед это умел, и отец, и все, кто жил до них.

Колин насторожился – похоже, он был всерьез заинтригован. И даже позволил ветру трепать пластиковые страницы альбомов, что в мире Колина Брэннона было невообразимой и неслыханной халатностью.

– У индейцев назначают тех, кто дает духовные имена новорожденным и еще вновь прибывшим, то есть тем, у кого духовного имени нет, но они заслуживают его в момент второго рождения. У меня такая привилегия есть.

Лично я сильно сомневался в том, что Ратсо не выдумывает на ходу. Терпеть не могу пустую болтовню.

Колин моих сомнений не разделял и задал новый вопрос:

– А тебе духовное имя кто дал?

– Отец, – гордо ответил Ратсо.

– И какое же оно?

– Липкий Медведь, – коротко буркнул Ратсо.

– А, ну понятно! – развеселился Колин. – Прямо в точку!

Он держал в руке карточку с большим индейцем – каза-

лось, ветер вот-вот вырвет ее и она улетит. Я не мог сосредоточиться ни на карточке, ни на разговоре. Просто чувствовал, будто лечу, как большая серая туча из металла или стали, вроде бы высокая и далекая, но в то же время тяжелая, грозовая. С тех пор как произошла авария, я часто испытывал это назойливое ощущение: казалось, мне никак не дотянуться до тех, кто со мной рядом, или, наоборот, они не могут, как бы сильно ни старались, достучаться до меня. После автомобильной аварии я попал в новый мир, где за пределами одной клетки всегда обнаруживалась другая клетка. Я смутно слышал смех Колина, но приземлиться не получалось. Я был не здесь, я отсутствовал.

Я стоял, стоял очень прямо, только вот сесть не мог.

– А мне ты какое духовное имя дал бы? – спросил Колин, подпрыгивая от нетерпения.

– Ничего в голову не приходит. Тебе оно не нужно, да и все равно ты его не заслуживаешь, – заявил Ратсо, резко поднявшись.

От него пахло мылом и дымом из трубы, странная головокружительная смесь.

У Колина опять был такой вид, будто на него выплеснули ведро воды: я догадывался, что ответ Ратсо ему совсем не понравился.

– Почему это у него есть духовное имя, а у меня нет? – спросил он, махнув в мою сторону головой.

Его вопрос прозвучал с интонацией длинного мяукания

голодного кота, я даже улыбнулся.

Ратсо внезапно нахмурился, откашлялся и пробормотал:
– Неохота объяснять, шпингалет. Мне пора валить. Пока!

Ратсо, похоже, умел одновременно занимать противоположные позиции – невозможно было понять, за тебя он сейчас или против, и это очень сбивало с толку.

Минуту назад уже почти казалось, что он мне друг, и вот теперь это чувство испарилось, как будто его и не было. У меня и с ногой получилось так же. Несколько месяцев подряд я все ждал улучшений, мне даже кое-кто из врачей их обещал. Мать была без ума от радости. Из больницы я выходил счастливый, летел как на крыльях, и небо над головой стало вдруг до нелепого синим, наполненным до краев и прекрасным, а неделей позже мне сказали, что надеяться особо не на что, спина слишком сильно повреждена, так что хорошего ждать не приходится. И вот небо стало продолжением больничного коридора, бесконечно серым, бесконечно долгим, бесконечно печальным, и я больше не отличал выход от входа. Стрелки на часах не успевали устать между хорошими и плохими новостями. Собственная нога стала мне врагом. И собственный отец – в какой-то степени тоже. По иронии судьбы, мать – не стала. Хотя...

Один вдох – и все изменилось так резко, так жестоко. Я казался себе скрепкой, которую гнули так и сяк, придавая ей разнообразные формы, и наконец бросили такой, какой она получилась, – измученной, и кривоватой, и такой же беспо-

лезной, как любой другой обрывок гнутой проволоки.

Я начал ненавидеть врачей.

И почти все время молчал.

Во мне росло отвращение к себе самому.

Я видел, как Колин встает и собирает вещи. Но чувствовал, что мне до него очень далеко. Я видел, как Ратсо уходит прочь в своей высоко задравшейся футболке «Монтана Гризлис».

В воздухе пахло тусклым металлом, как внутри старой консервной банки.

Я был Сломанный Стебель или Прыщ на лбу, кому как больше нравится.

На уроке английского я решил пересесть и, несмотря на то что до задних парт мне добираться трудновато, устроился в самом конце класса. Рядом с Липким Медведем. Тем хуже для Жади, красавицы в тюрбане, помешанной на «обустройстве». Мне показалось, будто жизнь моя внезапно покатила вольно и безо всякого плана. Я слушал медленный ритм дыхания, потом моих ушей достигли слабые удары сердца, чуть слышные и далекие, как отдаленный рокот затихающего барабана. И я не знал, мое ли это сердце стучит.

Уходя с урока, Ратсо шепнул мне на ухо:

– Слушай, Сломанный Стебель, у тебя на лбу жирный прыщ. Может, сделаешь с этим что-нибудь?

И ушел, подтягивая джинсы.

Я отыскал скомканный клочок бумаги на дне кармана и улыбнулся – ну, совсем чуть-чуть.

Я – черная дыра

Отец ждал меня у ворот: руки на руле, двигатель работает, он даже не успел его выключить. Взгляд, устремленный куда-то вдаль, сфокусирован на невидимой точке.

В небе росли большие фиолетовые и черные тучи, гроза, которую утром предсказывали по радио, была действительно уже близко. Без устали хлестал сумасшедший дождь, я видел, как с небес, сверкая, падают крошечные жидкие астероиды. Я поежился и попытался ускорить шаг, но у меня, ясное дело, ничего не вышло, и я почувствовал себя ужасно глупо. Мама меня бы выручила, она бы решительно въехала на заднем ходу во двор лица, неистово размахивая руками и выразительно артикулируя, кричала бы мне из-за стекла: «Я подь-ез-жа-ю, не дви-гай-ся!» Но сейчас ее здесь не было, и это избавило меня от привычной бури противоречивых эмоций: с одной стороны, я был рад маме, с другой – чувствовал себя ужасно виноватым.

Я знаю, это полный идиотизм, но – как жаль, что нельзя было посмотреть видео с пандами прямо сейчас. Вместо этого я открыл дверь машины, и... Ну, начали! Часы умолкли, все стихло.

– Привет, – набравшись смелости, произнес я.

– Здоров, – ответил отец.

Мы поцеловались, поцелуем коротким и сухим, как по-

спешно захлопнутая книжка. Его губы были жесткими, как будто накрахмаленными. Он схватился за руль и включил первую передачу. Резко подался всем туловищем к лобовому стеклу, но там ничего не было видно, даже в метре от нас. Я смотрел на его скрюченные руки и на черное небо. Я в этой машине задыхался.

– Может, лучше подождать? Дождь сильный, – сказал я, стирая конденсат со стекла рядом с пассажирским креслом.

– Да нет, сейчас прольет и закончится, – сухо отозвался отец.

Я растерянно умолк. Мне было не по себе, и я попытался напустить на себя задорную веселость, которой совсем не ощущал, – к тому же она в любом случае мало соответствовала эмоциям, которые я испытывал. Когда я вижу пустоту, я часто думаю, что должен до краев ее наполнить, и обычно использую для этого что ни попадя – всякую чушь.

– Найти бы, где у них кран закручивается! – глупо пошутил я.

И довершил фразу судорожным «ха-ха».

Казалось, мой мозг, будто рыба, пускает пузырьки: я так и слышал, как в пустоте лопаются мои мысли. Я презирал себя. *Хлоп, хлоп.*

Отец попытался продвинуться на несколько метров, но тщетно: видимость была нулевая, пейзаж перешел в жидкое состояние. Я боялся, как бы мы на кого-нибудь или что-нибудь не наехали. Я смотрел на отцовские руки, вцепившие-

ся в руль, кисти у него были тонкие и испещренные синими венами, похожими на нитки, как будто кто-то его зашил – наскоро и небрежно. Мне становилось все страшнее, нака- тывала паника вроде той, что охватывает собаку, когда она боится потерять косточку.

Мимо нас проплывали размытые тени, будто водой несло утопленников – не то людей, не то вырванные с корнем де- ревя. Мне сдавило грудь, и я закричал:

– Осторожно, папа! Нет, остановись! Пожалуйста! Давай постоим!

Он обернулся ко мне, и я схватился руками за ногу, ее пронзила резкая боль, такая же острая и невыносимая, как в тот день. В тот короткий день, когда произошла авария. В тот первый день, когда боль была нестерпимой. Когда мне показалось, что машина сейчас взорвется и разлетится на ча- сти, как в видеоигре. Я помню кровь на приборной панели, но самое яркое воспоминание – это звук, с которым спасате- ли извлекали нас из машины. Похожий на грохот кастрюль и сковородок на кухне ресторана, а еще – на скрежет, с ко- торым врезается в сталь консервный нож. И еще я помню маму, ее лицо цвета красной герани, ее раны, расцветавшие прямо у меня на глазах. Рот, из которого шли пузыри. Такое даже представить себе страшно.

Когда у человека перед глазами происходит настоящий ужас – думаю, сразу он его не видит и осознаёт лишь много времени спустя, когда герань и пузыри рассеиваются. Вот бы

глаза могли лгать – как бы это было хорошо, как утешительно. Со страхом – то же самое.

Моя нога дрожала, ладони – тоже. Я продолжал смотреть на руки отца, но боялся взглянуть ему в лицо. Его поведение казалось мне необъяснимым и нелогичным. От психиатра уместнее было бы ждать совсем другого: он мог бы поговорить со мной, объяснить все четко и по делу – но ничего подобного. Его молчание сбивало с толку, казалось, он сам в нем теряется. Эта загадка с самого дня аварии не давала мне покоя. Я твердо сказал:

– Папа, я хочу выйти. Мне страшно. Хочу выйти из машины.

– Нет, ты записан к врачу, и я должен тебя отвезти. Я делаю это для тебя. Хоть это я должен сделать! Я не разрешаю тебе выходить, – ответил отец. – К тому же там дождь, куда ты пойдешь в такую погоду?

– Я заметил, что там дождь, но я не хочу, чтобы ты сейчас вел машину. Я не хочу сейчас находиться в этой машине!

Я осознал, что кричу.

– А ну успокойся! Что это за истерика?

– Я не знаю! – Я продолжал кричать.

Тут я зарыдал, долгие всхлипывания вырывались откуда-то из самого нутра.

– Меня пугают твои руки! Я не хочу их видеть, – сказал я.

– Мозес, что ты такое говоришь! Что не так с моими руками? Ты городишь полную чушь и начинаешь выводить меня

из себя, я ничего не понимаю. Как только подумаю, что...
как только подумаю, что...

– Как только подумаешь про что?

– Ведь все из-за тебя, Мозес! Все это, все, что случилось, это все – твоя вина! И по-моему, уж лучш...

– Что значит – из-за меня? – проорал я, не дав ему договорить.

– Все из-за тебя, из-за тебя одного! – закричал он в ответ. – Во всем виноват ты, ты! Ну почему всё так? Ведь мама могла бы сейчас ходить! – захлебываясь, выкрикнул отец.

Он ударил ладонями по рулю, а моя голова тем временем несколько раз ударилась о приборную панель.

Я нарочно делал себе больно. В тот момент мне казалось, что только так я смогу выдрать из собственного тела отцовский голос и его упреки. Я себя не узнавал. Казалось, я весь – из дерева и это дерево трещит, а может, даже вспыхивает. Во мне пылал огонь и тут же плескалось море.

Откуда-то издалека донесся голос отца:

– Мозес, прекрати, ты поранишься! Ты с ума сошел, что ты творишь?!

Легкие отказывались наполняться воздухом. Я схватил себя за горло одной рукой, а другой стал бешено размахивать.

Я почувствовал себя ужасно грязным. Я орал и чувствовал, что вот-вот взорвусь.

– Я себя ненавижу! – крикнул я.

– Возьми себя в руки! – рывкнул в ответ отец. – Надо как-то сдерживаться, Мозес!

Отец не переставая колотил кулаками по рулю, это был жест бессилия, жест безграничной ярости и усталости – они копились в нем, должно быть, лет сто. Я представил себе, как эти руки сдавливают мне голову, будто это не голова, а боксерская груша. И подумал, что, возможно, сейчас это было бы даже очень кстати: мне стало бы спокойнее, если бы меня ударили, пнули, избили и оставили валяться в углу. На руках у отца пульсировали синие вены, и я угадывал в них медленно текущую кровь.

Он развернулся ко мне лицом и сказал:

– Дыши, у тебя психосоматический криз. Прости, меня занесло, я погорячился. Это... это настолько...

Ему не удалось закончить фразу, а может, я просто не услышал.

Дышать так и не получалось. Я слышал темные, глубоко въевшиеся в память отголоски этой дурманящей и ядовитой фразы: «Ведь все из-за тебя, Мозес!», она обволакивала меня плотной пеленой, как будто бы отец залепил мне рот целлофановой пленкой и ее ни за что не сорвать.

– Отвези меня домой, я не хочу ехать к врачу. Пожалуйста.

– Мозес, мне не нравится, в каком ты состоянии. Ты меня беспокоишь. Смотри, у тебя опять кровь на лбу.

Я оттолкнул его руку. Не хотел, чтобы он меня трогал, не

хотел с ним разговаривать, даже видеть его больше не хотел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.